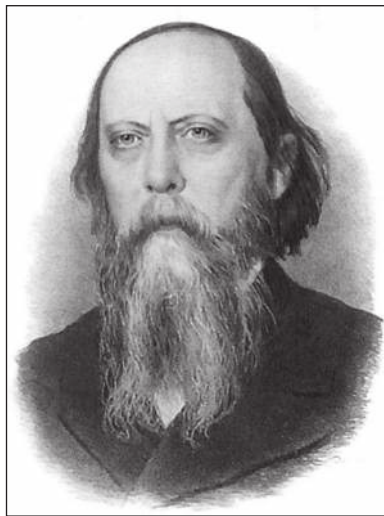


МИХАИЛ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН



САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН Михаил Евграфович (1826–1889 гг.) — русский писатель-реалист, журналист, критик, редактор журнала «Отечественные записки», Рязанский и Тверской вице-губернатор, автор острых сатирических произведений, известный под псевдонимом Николай Щедрин. Михаил Евграфович родился 15 (27) января 1826 года в селе Спас-Угол Тверской губернии в старинной дворянской семье. Начальное образование будущий писатель получил в домашних условиях — с ним занимались крепостной живописец, сестра, священник, гувернантка. С 1836 года Салтыков-Щедрин обучался в Московском дворянском институте, с 1838 — в Царскосельском лицее. Именно там он и начал свою деятельность писателя. Несколько его стихотворений было помещено в «Библиотеке для чтения» 1841 и 1842 годов, когда он был ещё лицеистом; другие, напечатанные в «Современнике» в 1844 и 1845 годах, написаны им также ещё в лицее. Но М.Е. Салтыков скоро понял, что у него нет призвания к поэзии, перестал писать стихи, и не любил, когда ему о них напоминали. В августе 1845 года Михаил Салтыков был зачислен на службу в канцелярию военного министра и только через два года получил там первое штатное место — помощника секретаря. Литература уже тогда занимала его гораздо больше, чем служба: он не только много читал, но и писал — сначала небольшие библиографические заметки (в «Отечественных записках» 1847), потом повести «Противоречия» и «Запутанное дело» (март 1848). Уже в библиографических заметках проглядывает образ мыслей автора — его отвращение к рутине, к прописной морали, к крепостному праву. В наказание

за вольнодумие уже 28 апреля 1848 года писатель был выслан в Вятку (Киров) и определён канцелярским чиновником при Вятском губернском правлении. В ноябре того же года он был назначен старшим чиновником особых поручений при вятском губернаторе, затем два раза занимал должность правителя губернаторской канцелярии, а с августа 1850 года был советником губернского правления. Он горячо принимал к сердцу свои обязанности, когда они приводили его в непосредственное соприкосновение с народной массой и давали возможность быть ей полезным. Провинциальную жизнь в самых тёмных её сторонах, в то время легко ускользавших от взора образованной публики, Салтыков узнал как нельзя лучше благодаря командировкам и следствиям, которые на него возлагались, — и богатый запас сделанных им наблюдений нашел себе место в «Губернских очерках».

В ноябре 1855 года ему разрешено было, наконец, покинуть Вятку; в феврале 1856 года он был причислен к Министерству внутренних дел, в июне того же года назначен чиновником особых поручений при министре. В марте 1858 года Михаил Салтыков был назначен рязанским вице-губернатором, в апреле 1860 года переведён на ту же должность в Тверь. Возобновилась, с большим блеском, и его литературная деятельность. Имя надворного советника Щедрина, которым были подписаны появлявшиеся в «Русском вестнике» с 1856 года «Губернские очерки», сразу стало одним из самых любимых и популярных. Они положили начало целой литературе, получившей название «обличительной». Юмор, как и у Гоголя, чередуется в «Губернских очерках» с лиризмом; такие страницы, как обращение к провинции (в «Скуке»), производят до сих пор глубокое впечатление.

Пишет он в это время очень много, публикуется в разных журналах, но с 1860 года — почти исключительно в «Современнике». Из написанного им между 1858 и 1862 годами составились два сборника — «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе». Здесь видны как последние вспышки отживающего крепостного строя («Госпожа Падейкова», «Наш дружеский хлам», «Наш губернский день»), так и очерки так называемого «возрождения», не идущего дальше попыток сохранить в новых формах старое содержание.

В ноябре 1864 года он был назначен управляющим Пензенской казённой палатой, два года спустя переведён на ту же должность в Тулу, а в октябре 1867 года — в Рязань. Эти годы были временем его наименьшей литературной деятельности: в течение трёх лет (1865–1867) в печати появилась только одна его статья «Завещание моим детям» («Современник», 1866, № 1; перепечатанная в «Признаках времени»).

С января 1868 года Михаил Салтыков стал одним из самых усердных сотрудников журнала «Отечественные записки» (под руководством Н. Некрасова). Затем писатель окончательно покинул службу и занял должность одного из руководителей журнала, официальным редактором которого стал десять лет спустя, после смерти Некрасова.

Большая часть написанного им в это время вошла в состав следующих сборников: «Признаки времени» и «Письма из провинции», «История одного города», «Помпадуры и Помпадурши», «Господа Ташкентцы», «Дневник провинциала в Петербурге», «Господа Головлёвы», «Пошехонские рассказы» и др. «Пёстрые письма» и «Мелочи жизни» были изданы при жизни автора (1886 и 1887), «Пошехонская старина» — уже после его смерти, в 1890 году.

В 1884 году «Отечественные записки» были закрыты, и писатель начинает печататься в журнале «Вестник Европы». В последние годы творчество Салтыко-

ва-Щедрина достигает кульминации в гротеске. Писатель издает сборники «Сказки» (1882–1886 гг.), «Мелочи жизни» (1886–1887 гг.), «Пошехонская старина» (1887–1889 гг.). Здоровье Михаила Евграфовича, расшатанное ещё с половины 1870-х годов, было глубоко подорвано запретом «Отечественных записок».

Писатель скончался 10 мая (28 апреля) 1889 года в Санкт-Петербурге, и в соответствии с просьбой в завещании, был похоронен рядом с могилой Ивана Сергеевича Тургенева на Волковском кладбище.

Миша и Ваня

ЗАБЫТАЯ ИСТОРИЯ

В передней сидят два мальчика, Ваня и Миша, и ждут барыню из гостей. Скоро полночь, а барыня все не едет; сальный огарок оплыл и нагорел; тусклый и мелькающий свет его освещает только лица двух собеседников да стол, перед которым они сидят; вверху и по углам темно. В доме тихо, словно в гробу; горничные девки давно уж поужинали, воротились из кухни и улеглись спать где попало, наказавши мальчикам разбудить их, как только приедет барыня. В окна по временам показывается что-то белое; мелькнет-мелькнет и опять скроется; это сыплет снег, но мальчишки думают, что выглядывает голова мертвеца, и вздрагивают.

Ваня мальчик крепкий, быстрый, черноволосый и черноглазый; он уверяет Мишу, что ничего не боится, что однажды он видел настоящего, заправского мертвеца — и того не струсил.

— Я ничего не боюсь, — говорит он, невольно, впрочем, бледнея, когда мороз вдруг ни с того ни с сего стукнет в стены барского дома, — мне только скучно, да и то с тобой ничего!

— А ну как мы сгорим? — робко спрашивает Миша.

— Сгореть мы не можем, — отвечает Ваня таким уверенным тоном, что Миша тотчас же успокаивается.

Миша, в противоположность Ване, мальчик слабенький, нервный, беленький, с белокурою головкой и большими синими глазами. Он часто посматривает на потолок и, увидевши, какой там сгустился мрак, вздрагивает и пожимается.

В ту минуту, как мы с ними знакомимся, они ведут оживленный, но несколько странный разговор.

— Холодным-то ножом, чай, больно? — спрашивает Миша, пристально глядя Ване в глаза.

— Это только раз больно, а потом ничего! — отвечает Ваня и покровительственно гладит Мишу по голове.

— А помнишь, как повар Михей резался! тоже сначала все хвастался: зарежусь да зарежусь! а как полыснул ножом-то по горлу, да как потекла кровь-то...

— Ну, что ж что повар Михей! Михейка и вышел дурак! Потом небось вылечился, а для чего вылечился? все одно наказали дурака, а мы уж так полыснем, чтоб не вылечиться!

— Ты ножи-то приготовил ли, Ваня?

— Когда не приготовил! еще с утра выточил! Только ты у меня смотри! чур не отступаться!

Миша вздохнул потихоньку; глаза его остановились на нагоревшей свечке.

— Что, разве снять со свечки... в последний раз? — сказал он слегка взволнованным голосом.

— Что с нее снимать-то? а я тебе вот что скажу, Мишутка: коли мы это теперича сделаем, так беспременно в рай попадем, потому теперь мы маленькие и грехов у нас нет! А заместо нас попадет в ад Катерина Афанасьевна!

— А Ивану Васильичу будет за нас что-нибудь?

— Ну, Ивану Васильичу, может, и простит бог! потому он не сам собою тут действует!

— Катерину-то Афанасьевну, стало быть, мучить будут?

— Еще как, брат, мучить-то! не роди ты, мать-земля! Первым делом на железный крюк за ребро повесят, вторым делом заставят голыми ногами по горячей плите ходить, потом сковороду раскаленную языком лизать, потом железными кнутьями по голой спине бить... да столько, брат, мучений, что и сказать страсти!

— А ведь она не стерпит, Катерина-то Афанасьевна?

— Что ей, черту экому, делается! — стерпит! Да там, брат Мишутка, на это не посмотрят! Там, брат, терпи! а не можешь терпеть — все-таки терпи!

Разговор на минуту смолк. Вдруг на улице завыла собака, завыла жалобно и тоскливо, как умеют выть только собаки.

— Ишь ты, это Трезорка покойника почуял! — сказал Миша изменившимся голосом.

— Ну, что ж что почуял! известно, почуял! А ты небось уж и трусу спраздновал!

— Нет, Ваня, я не боюсь! я так только... я только думаю, отчего это собака всегда покойника чувствует?

— А оттого, что собака — друг человека! Вот лошадь тоже друг человека, только она понятия не имеет, а собака — она все понимает, оттого и покойника чувствует!

— А что, Ваня, кабы утопнуть? — спросил вдруг Миша.

— Чудак ты, Мишутка! Ты мне Расскажи сперва, какая нынче вода? Ты скажи, лето нынче, что ли?

— Да, нынче вода холодная... чай, в воду-то бултыхнешься, так и не стерпишь!

— Вот то-то же и есть! Утопнуть-то — надо в пролубь лезти; да еще барахтаться станешь, вылезешь, пожалуй! — что одних мучений тут примешь — пойми ты! А с ножом ловко! ножом как полыснул себя раз, тут тебе и конец! Разумеется, надо крепче!

— И бить никто больше не будет? — прошептал Миша.

— И бить не будет! Возьмут твою душу ангелы и понесут к престолу божьему!

— А бог — ничего?

— А бог спросит: зачем вы, рабы божи, предела не дождались? зачем, скажет, вы смертную муку безо времени приняли? А мы ему все и скажем!

— Мы все скажем, как нас Катерина Афанасьевна мучила, как нам жить тошнехонько стало, как нас день-деньской все били... все-то били, все-то тиранили!

Миша потупился; накипевшие на сердце слезы горячим ключом хлынули из глаз. И текли эти слезы, текли свободно, без усилий, без гримас, как течет созревший источник из переполненной груди земли-матери. Ваня стал утешать расплававшегося.

— А мы ловко ее завтра надуем, Катерину-то Афанасьевну, — сказал он, — завтра гости у нее за столом соберутся, а служить-то будет и некому!

Миша вздохнул в ответ.

— Я и ножи-то все попрятал! — продолжал Ваня, — и есть-то нечем будет.

А Миша все-таки никак не мог уняться; Ваня все возможное делал, чтоб как-нибудь развлечь его: сначала со свечи снял, потом глянул в окно и сказал: «А север-то! север-то какой разыгрался! ишь ты! ишь ты!», наконец тоненьким голоском запел: «Ах вы, ночки, ночки наши темные!» — но Миша не только продолжал плакать, но при звуках песни еще более растужился.

— Нюня ты! — сказал Ваня с нетерпением.

В зале загудели часы. Заслышавши эти шипящие звуки, Миша вздрогнул, в последний раз глубоко вздохнул и перестал плакать.

— Скоро барыня приедет, — робко сказал он, насчитавши двенадцать часов.

— Дождайся — скоро! — отвечает Ваня, — эх, теперь бы вот соснуть лихо!

— Нет, уж ты не спи, Ваня, Христа ради!

— Небось боишься?

— Боюсь! — признался Миша и весь съежился.

— Ну, дурак и есть! сколько раз я тебе говорил, что там ничего нет! — поучал Ваня, указывая на двери, которые вели в неосвещенный коридор, — хочешь, я сейчас туда пойду?

Однако угрозы своей не исполнил. Водворилось молчание, а с ним вместе водворилась и тишина, тоскливая, надрывающая сердце тишина... Мальчики пристально вглядывались в трепещущее пламя свечи; Ваня водил по столу большим пальцем, нажимая его, отчего палец сначала двигался плотно, а потом начинал подпрыгивать. На дворе опять завывала собака.

— Ишь ее! ишь ее! — вымолвил Ваня и вслед за тем прибавил: — А что, Миша, где-то теперь Оля?

Оля была сестра Миши. Это была хорошенькая, белокурая и беленькая девушка, очень похожая на своего брата, ей было осьмнадцать лет. С полгода тому назад она неизвестно куда пропала, и рассказов об этом внезапном исчезновении ходило между дворней множество. Говорили, что она от дурного житья скрылась, но говорили также, что и от стыда. Достоверно было то, что одним утром она пошла на речку стирать и не возвращалась; на берегу была найдена корзина с невыстиранным бельем, но ни одежды прачки, ни даже тела ее нигде найдено не было. Достоверно также, что за два дня перед тем она была острижена и что по этому случаю плакала, рвалась и убивалась. Барыня клялась и надсаживала себе грудь, заверяя, что поганка Ольгушка утопилась не от дурного обращения, а для того, чтоб скрыть свой стыд. Тем не менее на всем этом происшествии лежала какая-то горькая тайна, и неизвестно было даже, действительно ли утопилась Ольга или только бежала. При следствии некоторые дворовые люди показали было, что житье Ольги было «нехорошее»; но исправник, производивший следствие (так как происшествие случилось в подгородной деревне Катерины Афанасьевны), ничему этому не поверил.

— Ну, вы это все врите! вы говорите правду, а не врите! — сказал он показателям и тут же приказал пригласить Катерину Афанасьевну.

Катерина Афанасьевна ахала и ссылалась на то, что у нее людей говядиной кормят. Позвали людей и спросили, действительно ли их кормят говядиной; ответ был, что кормят. Исправник подумал, посопел и записал: «Помещики содержат людей хорошо и даже говядиной кормят».

— Что же вы, бестии, вразли? — обратился он к дворовым.

Дворовые стояли бледные и переминались с ноги на ногу; у некоторых иску-саны были до крови губы. Катерина Афанасьевна заметила эту нераскаянность и сочла справедливым упасть в обморок. Исправник бросился утешать ее, услав оторопевшего Ивана Васильевича за спиртом. Результатом всего этого было краткое, но сильное объявление, написанное рукою самого исправника. Оно гласило:

«Утром 24 сего июня из сельца Полянок неизвестно куда скрылась принадлеж-ащая отставному штаб-ротмистру Ивану Васильевичу Балящеву девка Ольга Никандрова. Приметами та девка: роста высокого, белокура, волосы стрижены, лицом бела, глаза синие, нос и рот умеренные, особая примета: над левой ноздрей небольшое родимое пятнышко; есть подозрение в беременности. Унесла с собой данное ей помещиком пестрядинное платье, в которое и была в тот день одета. Полицейские начальства, в ведомстве коих та беглая девка окажется, благоволят препроводить оную в Р — ий земский суд, для отдачи по принадлежности».

Тем это дело и закончилось. Катерина Афанасьевна на некоторое время присмирела, но месяца через два совсем забыла о происшествии и начала жуировать жизнью по-прежнему.

Катерина Афанасьевна была глубоко развращенная женщина, но не знаю, имею ли я право называть ее злою. По крайней мере, весь город к ней ездил, и целый день в ее доме было, что называется, разлитое море; весь город знал, какие она фарсы выделяет над Машками и Ольгушками, и тем не менее никто не решался отозваться об этих фарсах не только строго, но даже и уклончиво. Напротив того, ее все любили, потому что в своем кругу она была барыня веселая и даже добрая, многим из своих друзей делала разные одолжения и всех равно отлично принимала и кормила.

— Сегодня у Катерины Афанасьевны за обедом в супе таракана подали, — говорили про нее в городе, — что ж бы вы думали? она преспокойно себе позвала повара и приказала ему таракана съесть!

— Лихая баба!

— Бедовая!

Некоторые, конечно, делали изредка предположение, «как бы, дескать, не по-пасться Катерине Афанасьевне за эти фарсы», но очевидно, что в этом случае сомнение заползло совсем не по поводу самых фарсов, а по поводу глагола «по-пасться». Самые же фарсы служили как бы оселком для обнаружения своего рода остроумия, которого кровавости никто не замечал, своего рода изобретательности, которой ехидства никто не подозревал.

— Сенька! поди, лизни печку! — говорили Сеньке.

Сенька лизал печку и обжигал язык; он возвращался весь красный, лицо его как-то неестественно напыживалось; из глаз выжимались слезы.

— Ну, дурак, — еще реветь вздумал! — говорили одни.

— Рожа-то, рожа-то какая! — восклицали другие. И затем следовал взрыв общего веселого хохота. Хохот — и больше ничего...

Не ясно ли, что все это без злорадства делалось, что при этом главный расчет совсем не в том состоял, чтоб причинить Сеньке мучительную боль, а в том, чтоб посмотреть, какую Сенька рожу уморительную скорчит, как он напыжится... Самые кроткие люди молчали, когда Сеньку посылали лизать пылающую печь, самые кроткие люди не могли слегка не фыркнуть, когда Сенька возвращался, по совершении своего подвига, весь красный и пыхтящий... Они молчали и фыркали

не потому, чтоб одобряли подобного рода увеселения, но просто потому, что такое уж время юмористическое было.

Теперь все это какой-то тяжкий и страшный кошмар; это кошмар, от которого освободило Россию прекрасное, великодушное слово царя-освободителя... Да, оно одно. Ибо кто же может ручаться, не лизал ли бы, без этого слова, Сенька горячую печку и до сей минуты? Не ходила ли бы девка Ольга Никандрова и до сей минуты стриженная и оплеванная гостями своей барыни? Где гарантии противного? В нравах, что ли? Но разве не известно, что славяне имеют нрав веселый, легкий и мало углубляющийся? В слезах, что ли? Но разве не известно, что слезы, которые при этом капают, капают внутрь, капают кровавыми каплями на сердце и все накаплиют, все накаплиют там, покуда не перекипят совершенно?

Никогда не бывает зло так сильно, как в то время, когда оно не чувствуется, когда оно, так сказать, разлито в воздухе. «Что это за зло? — говорят тогда добросовестные исследователи, которые имеют привычку рассматривать предметы не с одной, а со всех сторон, — это не зло, а просто порядок вещей!» — И на этом успокоиваются.

Кто же может утверждать, что такому порядку вещей не суждено было продлиться и еще на многие лета, если бы сильная воля не вызвала нас из тьмы кровавого добродушия и бездны ехидной веселости?

Повторяю: это был тяжкий и страшный кошмар, в котором и давящие, и давящие были равно ужасны.

Напоминание о сестре подействовало на Мишу болезненно. Он вдруг, словно под тяжестью какой, пригнулся; бледное его личико сделалось блее полотна, и на не обсохших еще глазах опять сверкнуло слезообильное облако.

— А ведь она барыне являлась! — продолжал Ваня.

— Врешь ты! — всхлипывал Миша чуть слышно.

— Являлась — это верно! Ключница Матрена сказывала, что барыня-то, словно мертвая, из спальни в ту пору выскочила! ни кровинки в лице нет!

— Врешь ты! она жива! — настаивал Миша, совершенно захлебываясь слезами.

— Ну, брат, нет! это погоди! Она утопла — это уж как дважды два! Из-за чего ж бы ей тогда барыне являться, кабы она не утопла!

— Врешь ты! врешь все! — кричал Миша, с которым чуть не сделалась истерика.

— Ну, и опять-таки ты дурак! Из-за чего ты нюни-то распустил! Известно, нам один конец!

Миша смолк; он, по-видимому, что-то припоминал. Припоминал он, как Оля, проходя мимо него, наскоро трепала его по щеке и приговаривала: «Дурашка ты мой!»; припоминал он, как Оля однажды надевала на него чистенькую новенькую рубашечку и сказала при этом: «Ну, носи теперь на здоровье, Мишутка ты мой!»; припоминал он, как однажды Оля выбежала в лакейскую вся бледная, и из глаз ее ручьями текли слезы; припоминал он голос, моливший о пощаде, голос искаженный, вымученный, кричавший: «Матюшка, Катерина Афанасьевна, не буду! батюшка, Иван Васильич, не буду!»; припоминал он, как упала из-под ножниц длинная русая коса Оленькина, как Оля билась и рвалась...

«Ах, не надо! не режьте!» — раздавался в ушах Миши знакомый молящий голос, раздавался с такою ясностью и отчетливостью, что он вдруг поверил... Он поверил, что Оля умерла действительно и что это она, именно она является к ба-

рыне и мучит ее по ночам. Ему показалось даже, что она и теперь с ними, что она зовет его.

— Оля-то здесь ведь! — сказал он испуганным голосом.

— Ну, вот это ты уж врешь! — отвечал Ваня и между тем сам вздрогнул и инстинктивно озирался кругом.

— Ей-богу, здесь! — настаивал Миша.

— Дурак ты! говорят тебе, нет никого! И из-за чего ей являться-то к нам? ты пойми, зачем покойник является? покойник является затем, чтоб мучить, а нас за что мучить она будет? Мы ведь Олю не трогали, Оля была добрая... да, она добрая была девка!

— Оля была добрая! — машинально повторил Миша и ласково взглянул на своего товарища.

— Пстой-ка, я по углам посмотрю! — продолжал Ваня, как будто с единственной целью успокоить Мишу; но очевидно было, что он и самого себя не прочь был успокоить.

Ваня встал с лавки и сначала посмотрел под стол; потом обошел всю комнату и в углах даже пошарил по стене; потом заглянул в дверь, ведущую в коридор. Никакого виденья нигде не оказалось.

— Ну вот, и нет ничего! — сказал он, усаживаясь на старое место.

— Оля была добрая! — задумчиво повторил Миша.

— За доброту-то и в дворне ее все любили! Помнишь, Степка как убивался, как она пропала-то? Степка-то, говорят, жениться на ней хотел!

— Стало, его за это в ту пору в часть посылали?

— За это за самое... Степка-то барыне говорит: «Лучше, говорит, Катерина Афанасьевна, вы меня теперича в солдаты отдайте, а служить, говорит, я вам не желаю!»

— Ишь ты!

— А барыня говорит: «Нет, говорит, Степушка! в солдаты я тебя не отдам, а вот в пастухах ты у меня сгниешь!» И гниет!

— И для чего только это она его в солдаты не отдала?

— А потому, братец, такой у ней нрав!

— А ведь в солдатах, Ваня, хорошо?

— Ну... кто ж его знает! Однако все лучше, чем у нас! у нас уж какая жизнь!

Миша опять задумался; он хотел сказать Ване, что лучше было бы в солдаты пойти, чем... но на этом мысль его оборвалась; очевидно, он боялся рассердить Ваню и выставить себя в глазах его трусом.

— А знаешь ли что, Мишутка? — вдруг спросил Ваня.

— Что тебе?

— Пойдем-ка мы, обойдем комнаты... посмотрим! — Мише тотчас же мелькнуло: в последний раз!

— Пойдем, Ваня! — сказал он. Ваня снял со свечи и пошел вперед.

— Вот это, брат, зала! — сказал он, когда пришли в первую комнату.

— Зала! — повторил за ним Миша.

— Кланяйся, брат, теперь на все четыре стороны! — наставлял Ваня.

Миша поклонился на все четыре стороны; Ваня исполнил вместе с ним то же самое.

Таким образом обошли они все комнаты и везде простились; дошли, наконец, до крайней комнаты, где стояла широкая двуспальная кровать.

— Ишь их! — сказал Ваня и не только не поклонился на все четыре стороны, но плюнул.

— Знаешь ли что! — продолжал он, — зажжем-ка теперь лиминацию! ведь колдовка-то еще, чай, долго не приедет!

— Зажжем! — согласился Миша, и на лице его сверкнула детски радостная улыбка.

По всему видно было, что натура Миши была натура нежная, женственная, артистическая; он любил, когда в комнате бывало светло и свежо, и, напротив того, куксился в мраке и спертом воздухе передней. По всему видно также, что Ваня знал про это свойство Миши и желал чем-нибудь угодить ему.

Зажгли иллюминацию действительно блестящую; Миша пожелал быть хозяином, Ваня изъявил согласие быть гостем. Но едва успели хозяин и гость усесться с ногами на диван, едва успел хозяин предложить своему гостю обычный вопрос о здоровье, как в передней раздался сильнейший трезвон. Хозяин и гость бросились тушить свечи, но впопыхах дело не спорилось; раздался еще трезвон, более сильный и более нетерпеливый.

Наконец свечи кое-как затушили и бросились в переднюю. Через дверь еще Ваня слышал, как барыня сердиться изволили.

— Это все мальчишки-мерзавцы! — говорила она в величайшем гневе, — вот уж погода!

— Успокойся, душенька! — уговаривал Иван Васильич, — может быть, это братец Никанор Афанасьич приехал!

В это время Ваня отпер наружную дверь.

— Братец Никанор Афанасьич здесь? — был первый вопрос барыни.

— Никак нет-с.

— Кто же свечи в зале зажигал?

— Никто не зажигал-с.

— Мерзавец!

Сильный удар свалил Ваню с ног.

— Кто зажигал свечи в зале? — накинулась барыня на Мишу, который стоял ни жив ни мертв.

— Никак нет-с, — едва-едва прошептал Миша.

— Долго ли вы мучить-то нас будете? — каким-то неестественным голосом закричал Ваня, вскочив с полу, и не успел никто моргнуть глазом, как он уже впилс ногтями в рот и нос Катерины Афанасьевны.

Катерине Афанасьевне сделалось дурно; Ваню насилу отняли от нее, потому что он словно замер и заоченел весь. Катерину Афанасьевну повели под руки в спальную, причем Иван Васильич приговаривал: «И как это тебе, матушка, не стыдно беспокоить себя из-за этих хамов!» Ваню тоже увели на кухню; он не плакал, а только кричал; очевидно, что все существо его было глубоко и решительно потрясено, что он не обладал собою, и этот резкий неестественный крик вылетал из его груди помимо его воли. Вся дворня страшно переполошилась и сбежалась кругом Вани; начали его оттирать и насилу уняли. Когда крики унялись, Ваня мгновенно и крепко заснул.

Потому ли, что Катерина Афанасьевна действительно заболела, или потому, что дворовые доложили об исступлении, в котором находился Ваня, но распоряжения насчет мальчиков в ту ночь никакого сделано не было. Сказано было только держать обоих в кухне. Миша лег подле Вани, но долго не мог сомкнуть глаз; завтрашний день представлялся его возбужденному воображению со всеми под-

робностями, со всеми ужасающими истязаниями. Мерещились ему пуки розог, мерещилась ему Катерина Афанасьевна; лицо ее словно пылало, на голове словно змеи вились, разевая рты, и высовывались оттуда огненные жала. Ваня по временам стонал, дворовые кругом безмятежно спали; Мише сделалось страшно...

«Ах, не надо! ах, не режьте!» — раздавалось у него в ушах, и образ сестры носился перед его глазами, как живой, но не в затрапезном истасканном платье, а весь белый, прозрачный, весь словно озаренный чудесным блеском...

Наконец, часов около трех, он заснул.

В четыре часа Ваня разбудил его. Долго смотрел на него Миша изумленными, слипающимися глазами, долго не мог понять, где он и что с ним...

— Пора! — шептал Ваня.

Миша вздрогнул, но все еще не понимал.

— Вставай! — настаивал Ваня.

Миша машинально встал и машинально же оделся. Они вышли в сени; холодный воздух охватил их со всех сторон и несколько отрезвил Мишу. В руках у Вани были ножницы; он проворно скинул с себя казакин и начал резать его на куски.

— Не доставайся никому! — шептал он как-то злобно и сосредоточенно.

Потом он снял с себя сапоги и проткнул в нескольких местах головки.

Миша смотрел на это, и вдруг в нем вспыхнула какая-то страстная жажда жизни. Он ухватил себя обеими ручонками за горло, начал метаться и заплакал.

— Нюня! ступай спать! — произнес Ваня.

— Нет! нет! — заикался Миша, — нет! нет... я пойду! я, право, пойду!

— Что ж ты реवेशь? разве вчера не видел?

Они вышли на двор и перелезли через забор. Улица была пуста, и непробудная тишина царствовала по всему городу. Дворовая собака Трезорка бросилась было к ним с ласковым визгом, но Ваня показал ей кулак, вследствие чего она вильнула раза два хвостом и юркнула в свою конуру. Утро было не столько холодное, сколько сырое и туманное; словно облако какое-то висело над улицей, словно мгла, наполненная иглистыми атомами, застилала воздух. Ваня был в одной рубашке; ему сделалось холодно.

— Ну, брат, — сказал он, — это я напрасно... Напрасно, значит, я теперича казакин свой изрезал!

Миша не отвечал ему; вообще он действовал как-то страдательно, словно горела, и упорно горела, в нем непорванная струя жизни, но не знала, как ей высказаться, как прорваться наружу.

И вот перед ними овраг; в этом овраге условились они исполнить свое намерение; Ваня рассчитывал, что там никто им не помешает, никто не может прийти скоро на помощь.

Ваня спустился и пошел вперед; он был бодр, а между тем манящие сладкие голоса жизни говорили и в нем; он смеялся, а между тем в груди его закипала какая-то страстная жажда; он шел и точил друг об друга ножи, но звук, который от этого происходил, был какой-то невеселый отрывистый звук; он чувствовал, что внутри его все горит, а между тем бедное, исхудалое тело ходенем ходило от пронизывающей сырости и холода... Миша шел за ним следом и по-прежнему был в каком-то забытии...

На свету будочник, спокойно спавший в своей будке, был разбужен проезжими мужиками. Мужики слышали стон в овраге и почтительно докладывали о том дремлющему блюстителю общественной тишины.

— Батюшки! помогите! — прозвенело в эту самую минуту в воздухе.

Спустились в овраг и нашли двух мальчишек, из которых один был одет в казакине, другой — в одной рубашке. Ваня был бездыханен, но Миша еще был жив. Неверная, трепещущая рука в несколько приемов полоснула ножом по горлу, но робко и нерешительно.

Жажда жизни сказала и восторжествовала.